

Евгений Малышкин

О САТИРАХ, КОЗЛАХ И УНИКАЛЬНОСТИ

Представление

Есть в истории философии потайные места. Такие, о которых всегда идет речь, и без которых развалится привычный способ выговаривания философских смыслов, но на которые не принято обращать внимания или же обращение внимания потребует дополнительного, расстраивающего сам дискурс усилия. Например, боги. И Платон, и Аристотель то и дело о них твердят, но рассуждать всерьез о богах не принято, да и не требуется. Например, классика: никто в точности не знает, что это, удача попыток определить, чем отличается классическое от неклассического чаще всего заключается в их отождествлении, и к тому же классик, как правило, несколько. В конце концов, речь всегда в подобных потайных местах идет об образцах: мы обращаемся к образцам прошлого, дабы напитать воздух настоящего, но результат никогда не предсказуем и не достоверен, поскольку в таком напитывании мы имеем дело с двумя ускользающими вещами: с атмосферой современности и с символическим. И то и другое – это забегание вперед, побрякка собственному рассуждению, дабы оно свершилось, поскольку мы уже заявили: вот, это современность, а так понимаем символы. Но современность, как и символ – это то, на что не может не быть времени, это предмет конституирования, а не исследования.

Само же конституирование не может обойтись без образцов созерцания и рассуждения, образцов отношения к вещам и людям. Мы обращаемся к образцам, полагаясь на образцы. Из этого круга мы обычно выбираемся благодаря опыту. Опыту, пусть смутному, восприятия классического, встречи, силы, вовлечения плоти и т. д.

В классических текстах, на которые мы уже всегда сориентированы, есть одно потайное место. Я имею в виду сатиров. Иногда – селенов. Часто – поющих козлов. Общим местом является указание на платоновский «Пир», где Сократ описывается как сатир. На панов, что сопровождают бога плодородия Диониса, да и на самого Диониса с его козлиной шкурой. На первый взгляд, сатирический характер прям и незамысловат: «они забияки, любят вино... задиристы, похотливы, влюбчивы, наглы, преследуют нимф

и менад» [1]. Большой соблазн есть в том, чтобы указать на козлиное как на само эротическое, фаллоцентрическое вообще и далее следовать намеченному. Но слишком разрозненное референтное поле у этого персонажа, слишком много коннотаций. Ведь Приап, этот трифалос – просто безобидный зверек по сравнению с паном, что пугает в полдень, с сатиром, что заставляет блуждать в лесу или с тем же паном, что, согласно известному рассказу, признался поймавшему его Мидасу, что лучшее для человека – вовсе не родиться, а второе – родившись, поскорее умереть. Да и с мифологическим бытием панов тоже (как и со всяким мифологическим) смутная история – то ли они мифологические, то ли взаправду существовали и последний был выловлен тогда-то и тогда-то.

Именную роль в излишнем этом коннотировании играет козел. Все дионисийские байки так или иначе апеллируют к нему, знакомому и запросто узнаваемому. Другими словами, есть образец, Дионис, а есть сам по себе опыт – козел, в котором нам требуется себя узнать. Но нет в козлах никакой энтелехии. Скачут, жуют, блеют, воняют. Размножаются и больше ни на что не способны. Как с козла молока. Одним словом, козлы. Они ничего не способны длить. Они заняты только чем-то своим, безымянным и непродолжительным, по сути ничтожным. Даже играть не умеют: не знают толка в игре, могут поиграть, а могут и зашибить. Придет пора – подерутся. Но как-то неубедительно, без азарта, без пафоса. С ними ни о чем нельзя говорить, они не вода, и не лес, и не бабочки. Но сами умеют увлекать и меры в том не знают. Козел – это пустой разрыв, нечто прерывистое само по себе, без толку скачущее. Они и не могут быть мифологическими персонажами, поскольку сами только и делают, что рассказывают сказки – веселятся.

Некоммуникабельность

Разговаривать с козлами – себе дороже, да и пустое это дело. Разговаривать они не умеют и не станут. Их действие никак не соотносится с речью окружающих, они преданы только самим себе. Они в этом смысле действительно «наглы», и наследниками их является «hybris» героя древнегреческой трагедии. Хюбрис, как

учит Аристотель – это род пренебрежения чужой судьбой. Нет еще в этом пренебрежении ни новоевропейской субъективности, ни личностного проекта, ни многонациональной долгой воли, хранящей собственную решимость (Я имею здесь в виду и немецкую долгую волю, и русскую упертость, и английскую принципиальность и т. п. Но важно не столько перечислить, сколько понять, а откуда берется столь похожее свойство у столь разных? Насколько оно для каждого из них свое и не является ли изначально чуждым? Насколько эта черта, которой принято исподволь гордиться у многих народов, вообще принадлежит человеческой природе?). Это именно невозможность разговора: беседа Эдипа и Тиресия. Вообще, невозможность сообщения, выстраивающая необходимую дистанцию зрителя (ибо он-то видит) – она чем-то вызвана, и это что-то должно быть простым и непременно узнаваемым. Козлы здесь похожи на кошек, они так же самоуверенно способны молчать. Но если кошки – существа нарциссические, умеют не замечать всего, что может разрушить их способность нежиться, то козлы глупее, что ли, им не хватит рефлексии, чтобы чего-то не замечать: они и вправду не видят, козлы. Не видят, что происходит, не видят, какие страдания причиняют своими рассказами и непомерным прыганьем. Они бы и вину чувствовали, но не узнают, как, в отношении кого, они и другого выслушают, но лишь гадость какую выкинут в ответ. Не всякую и не любую, поразмыслят, или как там это у них называется, но непременно выкинут. Прежде всего – того, кто намеревался воспользоваться естественным правом стать собеседником, козлы.

Эта упертость и роднит их с героями древнегреческих трагедий. Они ничего не видят так, как можно было бы увидеть их глазами, потому и на них смотреть бессмысленно: ничего не разглядеть. Они ни для кого не могут стать предметом наблюдения, сами же непрерывно только и видят и действуют и принимают меры. С запахом же все наоборот, они никого не услышат, но нельзя их присутствия не почуять – это та же самая неспособность быть воспринятым, вовлеченным (ср.: «Смрад от козла пошел. Пахкий, жёлтый смрад. Загозила старуха: “Ух, хорошо, люблю”» [1, с. 62]). Они *уже* всецело чему-то принадлежат, одержимы, и более нет места. Не так уж мало мы о них и знаем: они непослушны тому месту, где, и в то же время, они отсюда и боле нигде. Они

уже исполнены чем-то, но (или: поэтому) всецело открыты происходящему. Они, в отличие от нас, которые привыкли доверять осмысленности и разнозначности свершившихся событий, хранят одно-единственное время неисполненности: ничего не происходит, потому что все уже произошло, или же, что то же самое, все еще только свершится потому, что характер будущего узнаваем: он весел, он обещает праздник.

Сатирическое, которое, как мы видим, оказывается и в центре трагического, – это непроницаемая поверхность, короста одержимости. Это, впрочем, совсем не означает, что существо сатирического невозможно [ни с кем] разделить. Разделяемость, филийность, узнаваемость – *sine qua non* сатирического. Забияки сатиры вовсе не нарушители общего порядка, напротив, если бы они не знали, что могут рассчитывать на ответные чувства, то и не прыгали бы. Они хорошо осведомлены о злобности любви. Скорее даже о том, что Арто называл жестокостью: сатирическое способно, конечно, содержать в себе и сожаление, и снисхождение и «в твоё положение» может войти, и даже благородство проявит, но здравомыслящий бежит этих фигур, как девушка грязных подвалов. Однако избежать их невозможно, ведь сатирическое не есть всего лишь насмешливое, оно и есть только тогда, когда ничего внешнего уже не осталось, когда ты способен понимать себя как уже здесь находящего себя: трагическое стояние, в котором любое, мельчайшее действие оказывается сверхзначимым.

Козлы прирожденные коммуникаторы. Они не могут не общаться, и в то же время прекрасно отдают себе отчет в необходимом усилии, что тратят на общение. Их легкость не исключает упорного труда. И результатом этого труда оказывается уникальность.

Как последняя возможна? Как милых узнают по походке? Вещи становятся уникальными всегда вдруг, и всегда становятся. Хороший пример когда-то придумал Лейбниц: заявил на одном из собраний высшего общества, что любое сущее неповторимо и уникально. И дамы с кавалерами в перерыве развлекали себя тем, что обрывали листики с деревьев и сравнивали. И находили отличия. Не замечая, что производят ту самую работу, которую Лейбниц, по сатирическому обыкновению, назвал «предустановленной

гармонией»: раз гармония предустановлена, то и труд по ее учреждению незаметен.

Уникальное восхищает: нечто как нечто, но это *как* все же учреждено: «как» такого нечто всегда восхищающе. Уникальное становится таковым, когда не мы уже на нечто смотрим, но нечто – на нас. Когда оно видит, само оставаясь невидимым и вне этого смотрения – ничтожным.

Заколка Иокасты

Итак, сатирическое порождает уникальное. Эдип выкалывает себе глаза заколкой Иокасты. Сам, избавляясь от боли смотреть на то, что прежде доставляло радость и довольство взору, а теперь невыносимо в своей резкости. Он надеется на перемену. Аристотель определяет перемену (перипетию) так: «Peripeteia, как сказано, есть перемена делаемого в свою противоположность, и при этом, как мы только что сказали, [перемена] вероятная или необходимая» (1452a 25). Например, пришедший убить, сам оказывается убит, или пришедший с надеждой обрадовать, приносит известие горестное. Эдип призывает перипетию к своим глазам:

*Вот вам! Вот вам! Не видеть вам отныне
Тех ужасов, что вынес я, – и тех,
Что сам свершил. Отсель в кромешном мраке
Пусть видятся вам те, чей вид запрещен,
А тех, кто вам нужны, – не узнавайте!* (1270) [2, с. 51].

Случилось ли то, о чем взывал Эдип, неизвестно. Известно, однако, что Эдип лишает себя зрения золотой заколкой Иокасты. Заколка – это то, на чем держится одежда. Нет наших множества пуговичек, крючочков и выточек, есть одна деталь. Кто владеет ею – владеет образом. Женщина, закалывая на плече платье, наделяет видом всякого на нее смотрящего. Теперь же, в трагическом стоянии, то, что образом наделяло, лишает всякой возможности воспринимать («узнавать») образы. В действие перипетии попадает не Эдип, но заколка – она прыгает ему в руку, он же просил о мече! Уникален в этом событии не Эдип, именно к его неуникальности апеллирует Фрейд, уникальна заколка. Не сам Эдип возвращается из небытия в порядок космического – ему

помогает уникальное. Софокл раскрывает карты сатиров, перебивая их в их мифологическом: она, заколка, была вовлечена в порядок перипетийного, она порождает аффективность трагического, ее черед быть так, как ничто другое.

Воспарение

Платон изгонял из своего полиса поэтов и риториков, поскольку не знают те эйдоса, а лишь подражают подражающим. Неизвестно, принял бы козлов, ибо труден вопрос об эйдосе ничтожного. Но сам не обходился без сатирических метафор. Эта-то способность разрывать длящиеся обстоятельства, не замечать того, что должно быть воспринято как важное и обязательное (эх, красивый ты парень, Алкивиад), всемогущее «хватит!» (сатиры предпочитают лексемы поотчетливее) – вот что позволяет существу, помнящему о своем, козлином, вспоминать эйдетическое пространство. Именно оно придает козлам столь восхитительные аэродинамические свойства в воспарении.

1. Паперная Э. Козлы. В подражание А. Ремизову // Парнас дыбом.– М., 1990.
2. Софокл. Драмы / Пер. Ф. Ф. Зелинского.– М., 1990.
3. Тахо-Годи А. А. Сатиры // Мифологический словарь.– М., 1992.